

Лине Никольской —  
воздушному канатоходцу



*И остался Иаков один. И боролся  
Некто с ним до восхода зари.*

Бытие 32:25–26

*Итак, пусть никто не ожидает,  
что мы будем что-либо говорить об  
ангелах<sup>1</sup>.*

Бенедикт Спиноза.  
*О человеческой душе*



# Часть первая



*Леворукость имеет атакстический и дегенеративный характер... Нередко встречается у сумасшедших, преступников и, наконец, у гениев<sup>1</sup>.*

Чезаре Ломброзо





Звонок был настырным, долгим, как паровозный гудок: межгород.

Телефон стоял в прихожей под большим овальным зеркалом, и когда звонила мужнина родня, Маше казалось, что зеркало сотрясается, как от проходящего поезда, и вот-вот упадет.

Казенный плоский голос: ждите, Мариуполь на проезде. По голосам их, что ли, на работу принимают?

Звонила Тамара, двоюродная сестра мужа.

Обычно она поздравляла с Новым годом или сообщала о смерти очередной тетки — у Анатолия в Мариуполе был целый хоровод престарелой родни.

Маша хотела сразу же передать ему трубку, но Тамара сказала:

— Постой-ка, Маш, я ведь именно что к тебе...

И смущенной скороговоркой сообщила, что после неудачной операции аппендицита в Ейске померла племянница тети Лиды. Вот.

— Это какой же тети Лиды?

— Да видала ты ее, и племянницу видала на моей свадьбе. Тетя Лида-покойница, она не нам приходится родней, а со стороны...

14 Ну, пошло-поехало... Короче, с той, другой стороны, не мариупольской, а ейской.

Маша давно уже оставила многолетние попытки запомнить все родственные связи изобильной мужниной родни.

— ...и, слышь, племянница-то померла, но от нее осталась девчоночка трех лет.

— Ну и что?

А то, явно волнуясь, торопливо рассказывала Тамара, что эту девочку никто из ихней родни брать не хочет, хотя родня очень даже зажиточная: двоюродная сестра покойницы сама зубной техник, дом — полная чаша...

Живые с покойниками в той родне дружно шагали рука об руку из рода в род, весело перекликаясь и переругиваясь, доспоривая, допевая песню и допивая шкалик.

Странно, что никто из той родни так-таки и не хочет взять этого ребенка.

Маша стиснула зубы. Не горячись, сказала она себе, никто не собирался тебя обидеть, никому дела нет до твоей боли.

— Томка... — наконец сказала она спокойно. — Ты мне все это зачем говоришь?

Та замялась. В трубке шумел равнодушный прибой чьих-то гулких голосов, и Маша вдруг поняла, что ради этого разговора Тамара явилась на телеграф, выстояла очередь к кабине...

— Ну, может, вы подумаете, Маш... — словно бы извиняясь, проговорила та. — Все же у вас детей нет, может, это шанс? Как ни крути, а тебе уже... тридцать шесть?

— Тридцать четыре, — оборвала Маша. — И я надежды не теряю. Я лечусь.

— Ну, как знаешь... — Тамара сразу сникла, потеряла интерес к разговору. — Так ты и телефона не запишешь, бабы этой, дантистки? На всякий случай?

И Маша зачем-то записала, чтобы не обижать Томку, — ведь хорошего хочет, дурында этакая.

Все у них просто, у этих мариупольских коров с полными выменами...

Она опустила трубку и подняла голову. Из овального, в резной черной раме зеркала на нее внимательно смотрела еще молодая женщина с подвижным, усыпанным обаятельной веснушчатой крупкой лицом. За спиной у нее, в проеме открытой в спальню двери виден был отдыхающий после дежурства муж. Его босая ступня покачивалась маятником в такт то ли мыслям, то ли мотивчику, напеваемому беззвучно. Лицо заслонено ставнем раскрытой книжки, название и автор опрокинуты в зеркалье — прочесть невозможно.

Далее перспектива зеркала являла окно, где тревожно металась на ветру усыпанная белыми «свечками» крона киевского каштана. А выше и глубже поднималась голубизна небесной пустоты, то есть отражение сливалось со своим производным, истаивало в небытии...

Вдруг ее испугало это.

Что? — спросила она себя, прислушиваясь к невнятному, но очень острому страху. Что со мной? Этот страх перед услужливо распахнутой бездной — почему он связан с привычным отражением в домашнем зеркале?

Всю ночь Маша не спала, дважды поднималась накапать себе валерьянки. Толя молчал, хотя она слышала, что и он ворочался до рассвета.

16       Ровно год назад у них после многолетних медицинских мытарств родился крупный, красивый мертвый мальчик.

Наутро после разговора с Мариуполем Маша дождалась, когда за мужем захлопнется входная дверь, и набрала номер телефона этой странной женщины, которая не могла или не хотела пригреть племянницу-сиротку.

И все сложилось: и дозвонилась быстро, и женщина оказалась на месте, и слышно было фантастически ясно. И разговор произошел мгновенный, отрывистый и исчерпывающий, словно судьба торопилась пролистнуть страницу с незначительным текстом.

Выслушав первую же Машину фразу, та сказала:

— Вы эту девочку не возьмете. Она невообразимо худа.

— Что это значит? — спросила Маша. — Она больна?

— Говорю вам, вы эту девочку не возьмете. Вы просто испугаетесь.

— А... где она сейчас? Кто за ней смотрит?

— Там соседка душевная, с покойной Ритой дружила. Она хлопочет насчет... определить девочку... в учреждение.

— Адрес! — тяжело дыша, сказала Маша.

Та продиктовала.

Маша молча опустила трубку.

Днем Толя позвонил из госпиталя, сказал, что есть два билета на Райкина, — пойдем?

— Что-то не хочется...

И весь вечер была сама не своя. Зачем-то села перебирать документы. Тихо сидела, задумчиво, как пасьянс, раскладывая аттестаты зрелости, дипломы, свиде-

тельство о браке. Письма, которые писал ей Толя еще студентом Военной медицинской академии.

Перед сном он вышел из ванной, посмотрел на жену, зябко ссутуленную над цветными картонками документов, подобравшую под стул ноги в мягких тапочках. Маша подняла голову, улыбнулась виновато.

Он вздохнул и сказал:

— Ну, поезжай, разберись... Тебе ее воспитывать.

\* \* \*

До Ейска Маша добралась на поезде удобно, с одной всего пересадкой, но когда разыскала нужный адрес по Шоссейной улице, оказалось, что девочка уехала с детским домом на летнюю дачу.

Пристроила ее та самая душевная соседка Шура, она из года в год работала хлеборезчицей на летних домовских дачах. Да ты сама посуди: неуж не выгодно: и харчи казенные, и воздух морской, и получка цельная остается. Все это Маша выяснила за десять минут у двух старух, словоохотливых обитательниц вечной околоподъездной лавочки.

— Шура-то прям извелася вся, испереживалася: не есть ребенок, хоть ты тресни, будто ее на ключ замкнули. Може, там, с детьми отойдет? А то как бы не истаяла вовсе...

— А что отец, — спросила Маша. — Он вообще имеет место?

— О-он? Он место име-е-еть... — подхватила старуха. — На нарах он место имеет, добре место. Плацкарту бесплатну.

И вторая раскудаhtалась над этой шуткой и долго, вздохнув, смеялась, отирая ладонью рот и повторяя:

— Эт точно, на нарах он место имеет, эт точно!

18 Маша добралась до автовокзала и купила билет, как соседки научили: до станции Должанской.

...Летняя дача детского дома размещалась в четырехэтажном корпусе бывшего санатория то ли металлургической, то ли текстильной промышленности. Года четыре уже как здание передали Минздраву, и после ремонта перевели туда детский санаторий. Так что сюда привозят детей с церебральным параличом. И, знаете, неплохо подлечивают. А один из корпусов сдают детским домам под дачу.

Попутно с этими сведениями Маше пришлось выслушать некоторые факты биографии представительного дяденьки в полосатой пижаме. *Мои жизнь и борьба в сборочном цеху тракторного завода.*

Он причалил невзначай, пока она гуляла, пережидая тихий час, — вернее, металась вдоль каменного парапета набережной, — и все толочся и толочся рядом, не чуя тяжелого ее волнения.

Началось с того, что она никак не могла разыскать Шуру, *душевную соседку*, — ту самую, что пристроила ребенка на дачу. Машу посылали с одного этажа на другой, и повсюду Шуру «вот только что видели», потом — «за продуктами, видать, уехала...», пока одна из раздатчиц в пустой столовой, с подробным интересом изучив Машу с головы до босоножек, не сказала:

— А Шура, это... ваще...

— Что — вообще?

— Так это... отгулы она взяла. Зубы драть.

Кроме того, директриса, с которой только и можно было говорить о девочке, отлучилась утром в Ейск и вернуться должна была к четверем.

Маша вышла к набережной, залитой июньским солнцем. 19

Длинные белые пляжи благодатной косы были пересыпаны курортниками в цветных купальных костюмах. Во влажном, еще не выкаленном солнцем воздухе всплескивали звонкие выкрики и шлепки волейболистов: ребята играли поверх дырявой провисшей сетки. Кто-то из игроков с тупым стуком послал в воду такой мощный крученный мяч, что загорелая девушка в синем купальнике восторженно завизжала и бросилась за ним... Несколько бесконечных секунд мяч стоял в небе, вращаясь посреди барашковой зыби голубоватых облаков, и бесконечно долго, увязая в песке, бежала к нему девушка... пока он не стал обреченно падать, падать, убилися о мокрый песок в шаге от воды, мертво качнулся туда-сюда и замер.

Неподалеку от Маши группка мужчин и мальчишек сгрудилась над кем-то, кто сидел на дощатом ящике из-под пива, быстро передвигая что-то руками на доске, положенной на другой такой же ящик. Издали можно было принять их за филателистов, если б не странное излучение опасности и азарта, исходящее от всей компании.

На две-три секунды над головами их воцарялась враждебная тишина, которая взрывалась огорченным матом, смехом, угрозами. Тогда на мгновение компания распадалась, открывая рыжие вихры сидящего и юркие озорные руки, будто готовые броситься наутек. И опять грозно смыкалась над ним.

Какая-то игра, подумала Маша, наверняка азартная. И значит — мошенничество, проигрыш, отчаянье, месть...